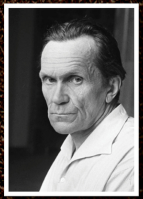

Варлам Шаламов

В зеркале (сборник)

ФТМ

Варлам Тихонович Шаламов
В зеркале (сборник)

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=421122
Варлам Шаламов. В зеркале: Эксмо; Москва; 2009
ISBN 978-5-699-35255-5

Аннотация

«Каждый мой рассказ – это абсолютная достоверность», – писал Варлам Шаламов, чья проза беспощадна, горька и откровенна. В состав этой книги вошли ранние рассказы писателя, пьеса о лагерном быте «Анна Ивановна», стихотворения, эссе и заметки.

Содержание

Рассказы 4
Ганс 4
Три смерти доктора Аустино 9
Возвращение 15
Господин Бержере в больнице 22
Пава и древо 27
Маяковский разговаривает с читателями 36
На заводе 41
Вторая рапсодия Листа 49
Карта 55
В зеркале 64
Конец ознакомительного фрагмента. 68

Варлам Тихонович Шаламов
В зеркале

Рассказы

Ганс

– Это не перелом, а вывих… Позвольте. Вот так… Мерзавцы… Через десять минут боль утихает… Я врач, видите ли, из оказавшихся неугодными… Позвольте почистить ваше пальто… Хамы… напасть на женщину… Сумочка цела. Прекрасно.

– Если бы не вы… но у вас на руке кровь. Вот платок.

– Это их кровь. Позвольте мне проводить вас. Девушка одна в чужой стране. Мой долг. Соотечественница…

– Вы…

– Да, за шлагбаум. Еще зимой. Я не подхожу фюреру. Три неосторожных слова. Недостаточно громко крикнул «Хайль»… Оставалось подвязать лыжи. Горные тропы… И я здесь… Один, как и вы.

– Не провожайте дальше. Благодарю.

– Я оставлю платок себе. Это будет моей наградой.

– Вашу руку.

– Ганс Эдельберг.

– Маргарет Рау. Прощайте.

* * *

– Вы? Боже мой, разве мог я не узнать вас. Вы не рассердитесь, если я пройду с вами?.. До угла. Я хочу показать вам город. Я здесь раньше вас. Это старина. Черепичные крыши, лучшее масло в мире. Масло для богачей. Страна, у которой нет армии.

В том домике жил старик Андерсен. Мой тезка. Вы помните сказку о снежной королеве? Дьявол разбил зеркало, и осколки попали в глаза людей. Люди видят мир по-разному…

– Надо вынуть эти осколки.

– Я врач, но не глазной хирург.

– Для этого не надо быть хирургом.

– Вы похожи на снежную королеву, Маргарет.

* * *

– Кельнер, еще кружку. Пошлите мне цветочницу. Небольшой букет. Дешевых, понимаете. Да, да, той самой

даме. Белокурой, за угловым столом.

– Мой скромный подарок рассердил вас? Это жалкий букетик, но я не могу покупать эти роскошные пьяные цветы, перевязанные муаровой лентой. Я эмигрант. Простите меня, Маргарет. Скажите мне, чтобы я ушел. Я исчезну. Я буду грузить уголь в Аргентине, возить тачки в бразильских рудниках, завинчивать гайки в Детройте, словом, буду работать там, куда забросит меня судьба. Но, ночуя в грязной конуре, на нарах, по которым ползают клопы и вши, я буду помнить вас, видеть вас, Маргарет.

– Не говорите так. Я не хотела вас обидеть, но понимаете… У меня очень мало времени.

– Я прошу минут, маленьких минут, Маргарет, вы смелая женщина. Вы молчаливы. Я уважаю вас. Я люблю, не сердитесь. Я не только люблю. Я ненавижу. Я хотел бы сражаться вместе.

– Ганс, вы принимаете меня за кого-то другого.

* * *

– По утрам – я в стране цветов. Старик из оранжереи хорошо знает меня. Десятилетняя внучка водит меня по садам Семирамиды. Желтые ромашки, жаркие пышные пионы, вырезанные гиацинты, тюльпаны, анемоны, пляска цветов и запахов. И сквозь все это одуряющее великолепие я всегда вижу вас, Грэта, ваше усталое лицо.

– Оно в морщинах, милый Ганс. Морщины – шрамы битв, рубцы сражений…

– …и я вдыхаю запах ваших волос, волос Брунгильды.

– У вас военная выправка, доктор.

– Ого, вы наблюдательны, Грэта. Эти трудовые лагеря, будь они прокляты. Подготовка к новой войне. Инженеры и врачи роют канавы для шоссе, для дорог, затем они маршируют. Раз, два. Раз, два. К черту. Меня тошнит от воспоминаний.

– Сирень, какой у нее горький вкус. Копите злобу, Ганс, копите злобу.

– Моей матери понравилось бы здесь, Грэта. Темно-зеленая трава. Чисто вымытые коровы. Мычание коров – лучшая мелодия для моей матери. Что до меня – предпочитаю автомобили, сирены.

– Вы любите свою мать, Ганс?

– Да, она была для меня лучшей женщиной – до той ночи…

– Не надо…

– Вы любите быструю езду?

– Да, я хотела бы, чтобы все двигалось скорее. Люди. Время. Существуют разные миры. Мир пешехода. Мир трамвайного пассажира. Мир автомобилиста. Мир летчика. Ощущение мира зависит от скорости движения. Скорость мыслей. Есть страна, где люди догнали время… Советский Союз.

– Теперь сюда. Здесь хорошее шоссе.

– Где мы едем?

– Не бойтесь, я знаю дорогу.

– Это германские столбы, Ганс, назад. За нами едут, Ганс. Автомобиль. Сверните в сторону.

– Черт, шина.

– Назад, Ганс, на помощь, Ганс, стреляйте, мой револьвер разряжен…

– Откройте эту камеру. Ну, Брунгильда, приветствую вас на родине.

– Ганс…

– Я такой же Ганс, как ты Маргарет, шлюха. Тебя удивляет мой мундир? Ты не любишь военных, девочка? Влей ей воды в глотку, Питер, она охрипла. Это отрезвляет. Вы узнаете Питера, фрау? Это он вывихнул вам палец. В ночь нашей первой встречи. Теперь ты, может быть, назовешь своих друзей?

Плеваться? Подержите ее за космы, Питер, пока я заткну ей рот. Знакомый платок, фрау. Три месяца волнений… Скажите словечко, фрау. Не хотите. Мы тебя разложим перед целым взводом, шлюха. Свеженькая девочка, на всех хватит, не правда ли, Питер? Адреса, Брунгильда, адреса… Нет. Давай сюда штурмовиков, Питер.

– Есть, господин лейтенант.

<1935>

Три смерти доктора Аустино

Бритый затылок коснулся холодной стены. Сыро, хотя солнце давно поднялось. У стены напротив стоят солдаты. Пуговицы их слабо блестят – одна, две… шесть пуговиц на солдатской куртке. Сбоку стоит офицер. Доктор Аустино видел его в почетном конвое губернатора, но тогда он надевал каску с плюмажем. Сейчас – в фуражке. Ведь нынешний день – будни офицера, будничная ежедневная работа. Рядом, у стены – товарищи. Они не знакомы доктору Аустино, но это его боевые товарищи, друзья, которые боролись и умирают за одно дело. Они жмут друг другу руки, слегка позвякивая кандалами. На глаза осужденных надевают свежепостиранные белые повязки. Доктор Аустино отказывается. У него достаточно мужества, чтобы встретить смерть с открытыми глазами. Но без повязки нельзя, не позволяет устав расстрела: ему завязывают глаза, как и всем остальным. Нестройно запевают песню. Не ладится. Песня обрывается. Сейчас, должно быть, офицер закладывает обоймы в солдатские винтовки: часть патронов с холостым зарядом, часть с боевым. Это для того, чтобы никто не знал, что именно он – убийца. Офицер, вероятно, поднимает руку…

* * *

– Стой, остановись! Кто здесь доктор Аустино?

Доктор делает шаг вперед. С него снимают повязку.

Запыхавшийся солдат путано и несвязно докладывает офицеру. У жены начальника тюрьмы преждевременные роды. Она умирает. Единственный врач этого небольшого провинциального города – за добрую сотню миль в горы, вернется только к утру. Начальник обещает все что угодно. Это первые роды жены, первый ребенок.

– Идите, – говорит офицер доктору, – спектакль отменяется.

Доктор Аустино знает начальника тюрьмы, худощавого зверя с тонкими усиками, затянутого в безупречный, без единой пылинки, мундир. Это он во время митинга заключенных отдал приказ пожарной команде залить камеры водой. Это он совершенствовал систему горячих и ледяных карцеров. Это он, зверь с высшим образованием, собственноручно избивал заключенных.

Доктор Аустино знал и жену зверя – раскормленную, накрашенную бабу, благодетельницу часовен и церквей, которая била зонтиком прислугу, перегревшую на два градуса ванну. Доктор Аустино не пойдет. Славная месть врагу в последнюю минуту жизни.

Черт возьми, как повезло доктору Аустино! Но ведь

Аустино врач. Он давал университетскую присягу. Чепуха! Он лишен всех прав. Он на пороге смерти. Встреча со смертью освобождает от всех присяг и обещаний. От всех ли? А обещания ненависти? Доктор Аустино думает о том, кто родится. Это будет, конечно, мальчик. Доктор Аустино видит его, писклявого, нездорового ребенка, обкусывающего грудь кормилицы. Недоносок, с больной печенью и недоразвитым организмом, выросший на грелках, окруженный заботами маленький эгоист. Ему твердят с детства, что он высшее существо, что ему принадлежит мир. Доктор Аустино видит зверенка, топящего котят и выкалывающего глаза цыплятам. Вот он в военном мундирчике, подрастающий убийца. Вот обеспокоенная мать, нанимающая прислугу для «удобства» сына. Доктор видит прислугу – беременную, плачущую женщину, растерянно бредущую по горячей мостовой города. Звереныш вырастает в зверя – он уже командовал разгоном демонстрации, он получил первое повышение в чинах, и вечером, танцуя с бокалом дорогого желтого вина в руке – так, чтобы ни одна капля не пролилась, – молодой зверь хвалится своим первым успехом. Другим он не будет – сын зверя.

– Отказываюсь, – сказал доктор Аустино громко и раздельно. – Будьте вы прокляты!

На глаза вновь надевают повязку. И доктор Аустино запевает победную песню.

* * *

Остановитесь! Доктор! Умирает человек и рождается человек. Двадцать лет доктор Аустино ходил по первому зову – ночью, в непогоду, больной, – ходил всегда. Выработалась привычка. И почему он стал доктором? Он любил людей – он хотел и стал лечить, спасать жизнь от смерти. Разве сейчас он изменит этой любви? Жизнь человека в опасности – а что важнее жизни? Сам умирая, доктор спасает жизнь двух человек. А может быть, и третьего, самого себя. У начальника тюрьмы ведь есть человеческие чувства. Благодарность. Но если доктор Аустино умрет, все же он сделал благородное дело. Солдаты увидят, расскажут другим – весь город, весь мир будет знать, какой благородный человек доктор Аустино. Он не может не пойти. Он хочет жить. Хотя бы еще сутки. А может быть, и больше – годы. Чудесный шанс! А если нет? Он попробует бежать. Все равно, главное – жизнь человека в опасности, и доктор Аустино, человеколюбец…

– Иду, – сказал доктор Аустино.

Он почувствовал на спине взгляд товарищей, может быть ненавидящие, может быть, завистливые взгляды. Впрочем, на их глазах повязки. Огромное небо обрушилось на доктора Аустино, и ветер хлестал его в лицо, пока машина, подпрыгивая и беспрерывно гудя, летела к городской больнице. Доктор Аустино указывал на инструменты, и конвойные

складывали их в чемодан.

В квартире, где умирала женщина, доктора Аустино встретил растерянный, жалкий человек с воспаленными глазами и зелеными щеками, туго обтянувшими скулы. Нижняя губа человека тряслась, он протягивал арестанту тонкие желтые пальцы с длинными ногтями.

Конвойные стояли навытяжку у огромного бюста Данте. Резные шкафы, полные книг, тянулись по стенам комнаты. На небольшом белом рояле стоял букет завядших цветов. Раскрытая английская книга валялась на диване. Машинка для закручивания усов упала с туалетного столика. Доктор Аустино поднял руки, и измученный, худощавый человек бросился к письменному столу. Он достал ключ и отпер кандальный замок. Начальник тюрьмы гордился специальными кандалами. Они надевались лишь важным преступникам лично начальником тюрьмы. Это было одно из изобретений начальника.

Доктор Аустино размял затекшие руки, прошел в комнату роженицы. Утомленное перекошенное лицо женщины с надеждой смотрело на доктора. Глаза глубоко ввалились, и красная пена выступила на губах.

– Сулему, конечно, мы забыли, – сказал доктор. – Давайте спирт и кипятите воду. Где можно умыться? Я уже месяц не умывался.

Через час доктор вышел из спальни. На руках его, завернутое в белую марлю, лежало синее тельце ребенка. Ребенок

слабо пищал.

– Вот ваш сын, – сказал доктор Аустино. – Мать вне опасности.

В комнату вошел вестовой – городской доктор вернулся с гор.

Конвойные отвели Аустино в тюрьму, и он сидел в своей камере до утра, голодный, он был снят с питания – канцелярия тюрьмы уже считала его мертвецом. Утром за доктором Аустино пришли солдаты и вывели его на квадратный тюремный двор.

Бритый затылок коснулся сырой холодной стены. На глаза доктора Аустино надели повязку, и он услышал негромкую команду офицера.

Возвращение

Стоя на краю тротуара, Стрэд ждал таксомотора, медленно выдыхая дым дорогой сигареты. С горы к вокзалу спускалась улица и по ней стекали автомобили. Световые рекламы бледно горели в летнем вечернем небе. Стрэд поискал название своей фирмы – не нашел и усмехнулся. Он растоптал окурок сигареты и, подняв глаза, увидел маленькую девочку. Она перебегала площадь. Раскатившийся с горы автобус догонял ее. Девочка споткнулась…

Стрэд кинулся к автобусу и отбросил девочку в сторону от черных огромных теплых колес. Мелькнул узор шины, кусок беззвездного неба, и Стрэд потерял сознание…

– Где я?

– В госпитале Девы Марии. Что вы делаете? Вставать нельзя без разрешения дежурного врача!

– Пустяки, я совершенно здоров.

– Доктор, можно встать больному?

– Да. Я сам проведу его в приемную; там его ждут родственники.

– Родственники?..

Женщина протянула к нему руки:

– Вы спасли моего ребенка! Я два месяца каждый день хожу сюда, чтобы знать, поправились ли вы, чтобы видеть вас, чтобы благодарить вас!

Больной недоуменно смотрел на женщину, на врача…

– Вы забыли себя, – ласково сказал врач, положив ему руку на плечо. – Вы – Стрэд, мистер Стрэд, вояжер. О вашем приключении писали в газетах. Теперь вы здоровы, и прошлое вернется. Я выписываю вас сегодня – больница не может так долго держать бесплатного пациента. Кстати, как вас зовут – Джон или Джемс?

– Не знаю, – ответил Стрэд оторвав наконец пуговицу халата.

* * *

Документ, деньги и чемодан Стрэд получил в больничной конторе. Денег было много, в чемодане лежало белье, бритвенные принадлежности, костюм, две книжки «дорожных» романов и ящик с образцами роговых изделий. Документ был только один – удостоверение фирмы «Файн и К°», данное коммивояжеру Д.К. Стрэду.

Запершись в номере гостиницы, Стрэд рассматривал свои вещи. Вещи были новые, дорогие. Они ничего не подсказывали ему…

Стрэд подошел к зеркалу. Волосы на голове уже успели отрасти. Нос – обыкновенный, глаза – не то голубые, не то серые, подбородок круглый, крутой…Стрэд разглядывал себя как чужого человека, отмечая глубокие морщины, засеченные в углах рта и около глаз. Лет 30, не больше.

Он взял лист бумаги и написал несколько раз: С т р э д, С т р э д. Он писал свою фамилию как незнакомую, впервые. Д. Стрэд. Пусть будет Джемс Стрэд! Вот у него есть и имя.

Он пересчитал деньги. Хватит на несколько месяцев, если жить экономно. Вот таких сигарет, какие лежат у него в кармане, покупать нельзя. И гостиница тоже дорогая. Надо искать работу. Но что он умеет делать? Продавать роговые изделия?..

Холодный пот выступил на лбу Стрэда. Кто же он? Доктор говорил что-то о газетах…

Стрэд побрился, оделся и вышел из комнаты.

– Где здесь ближайшая библиотека? – спросил он у швейцара.

– На Восьмой улице, – ответил швейцар. – Вы не знаете города, мистер? Надо пойти налево, а затем…

В библиотеке он перечитал описание спасения девочки. Стрэд узнал, что он был неизвестным приезжим, самоотверженно бросившимся под колеса автобуса. Девочка «отделалась легким испугом». Он читал, как неизвестного отвезли в госпиталь Девы Марии, как хирург констатировал сотрясение мозга. Больше ничего не было.

– Дайте мне что-нибудь о заболеваниях мозга, – сказал он библиотекарю, возвращая газеты.

Он переехал из гостиницы, сняв комнату на одной из тихих улиц у пожилой и молчаливой хозяйки. Жить стало де-

шевле, но деньги, хотя и медленно, убывали.

Он послал письмо в адрес фирмы, прося сообщить подробности о Д.К. Стрэде, выдавая себя за брата вояжера. Письмо вернулось обратно с сообщением, что фирмы «Файн и К°» в городе нет и никогда не было. Адресный стол города ответил то же о Д.К. Стрэде.

«Я схожу с ума!» – подумал Стрэд.

Он хотел напечатать свой портрет в газетах, но внезапная мысль о страшной возможности довела его почти до обморока: ведь он мог быть уголовным преступником, скрытым за «вояжером фирмы роговых изделий»!

С тех пор он бесцельно бродил по улицам большого города, напряженно приглядываясь к людям и вещам. «Судя по выговору, вы с севера», – сказал ему кто-то в трамвае. И Стрэд рылся в этнографических книгах, бросался в музеи. Нет! По-прежнему он был Д.К. Стрэдом, человеком без прошлого.

Как-то за городом он набрел на юного франта, беспомощно топтавшегося у своего автомобиля. Франт попросил Стрэда помочь ему. Удивляясь себе, Стрэд уверенно подошел к машине. Он откинул крышку радиатора, завел мотор и прислушался. Движения были совершенно инстинктивными. Стрэд быстро определил в чем дело и тут же исправил мотор. Юнец протянул ему деньги, но Стрэд отказался и в отличнейшем расположении духа вернулся домой. Он узнал, что может быть механиком, шофером.

Вскоре внезапно выяснилось, что Стрэд, кроме того, еще отличный игрок в шахматы, а философские сочинения, которые он читал в библиотеке, казались ему уже читанными ранее, очень давно, словно виденными во сне.

Может быть, он – поэт? Стрэд пробовал писать стихи, ходил в картинные галереи. Порою он подолгу разглядывал свои руки. Толстые, крепкие пальцы совсем не были похожи на пальцы, скажем, потомственных банковских служащих. Однако недавней физической работы эти руки, видимо, также не знали.

Однажды, когда в очередную бессонную ночь Стрэд метался по комнате, в дверь постучала хозяйка.

– Мистер Стрэд, – сказала она, – дух ваш беспокоен. Прошлое душит вас.

– Меня душит отсутствие прошлого! – вскричал Стрэд. – Миссис, – сказал он в отчаянии, – помогите мне найти себя!

Хозяйка подняла руки к потолку.

– Там, – сказала она, – там, в объятиях голубого бога, вы найдете себя, мой заблудший брат!

Стрэд с сомнением покачал головой.

«Завтра, – решил он, – я буду искать другую квартиру».

Он не узнал улицы, хотя ему было известно, сколько шагов между каждым ее перекрестком. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни пешеходов обычного вида, и только девочка, уличная цветочница, по-прежнему стояла на углу, улыбаясь заученной улыбкой.

По опустевшей мостовой поднималась в гору толпа демонстрантов. Буквы на широких, красных, колыхающихся полотнищах складывались в требования работы и хлеба. Демонстрация двигалась медленно, потому что впереди шли инвалиды, переваливаясь на деревяшках, размахивая пустыми рукавами, сверкая металлом патентованных протезов. Часть их ехали на маленьких платформах с колесиками, упираясь руками в камни мостовой. И все они пели военную песню. А впереди всех вышагивал мальчик, маленький барабанщик этой наступающей армии обездоленных, лихо сдвинувший на затылок фуражку.

Толпа остановилась, песня смолкла, и минуту слышалась только мелкая дробь одинокого барабана.

Стрэд стоял, тяжело дыша, царапая ногтями ладони. В висках у него стучало, рубашка прилипла к телу.

На ящик у фонарного столба руки демонстрантов подняли оратора. И едва он кончил речь, как Стрэд сорвался с места и, расталкивая толпу инвалидов и здоровых, пробился к этой уличной трибуне. Спина его ощутила освежающий холод фонарного столба. Стрэд заговорил. Он говорил слова, пришедшие ему в голову тут же, и эти слова были словами массы, интересами массы – вот этих инвалидов войны и рабочих, локаутом выгнанных с заводов. Стрэд цитировал на память слова великих вождей, статистические подсчеты, говорил о событиях, которых еще вчера не помнил. Он видел перед собой сдвинутые брови, сухую кожу щек, широко от-

крытые глаза, а через толпу – девочку, раздававшую демонстрантам даром свои цветы.

Кончив свою речь, он услышал стесненное дыхание сотен людей и спрыгнул с трибуны. Смуглый человек потянул его за рукав. Он отвел Стрэда в сторону и медленно сказал:

– Что нынче стоят рога оленя?

И Стрэд вспомнил все – кто он и кем был послан в этот город…

Господин Бержере в больнице

Ассистент повернул теплый термометр к окну.

– Сколько?

– Норма, профессор.

– Выписывайте. О вас слишком заботятся, больной. Сразу после приключения – свинцовая примочка, рюмка портвейна – и вы могли продолжать ваши апелляции к совести прекрасной Франции.

Господин Бержере лежал, счастливо улыбаясь. Он знал, что профессор любит шутить. На столике стояла ветка сирени. Господин Бержере вдыхал запах весны. Он снял пенсне и закрыл глаза, пытаясь честно припомнить «приключение». Как это трудно – честно вспомнить. Бержере столько раз рассказывал свою историю врачу, соседям, что знал ее наизусть и вспоминал уже свой рассказ, а не событие. Но сейчас – для себя – он попробует вспомнить все – без рамплиссажей, как говорят музыканты. На площади, у сквера, где любил гулять Бержере, – много людей. На бульварной скамейке стоит оратор. Шея его замотана рваным цветным шарфом. Бержере прислушивается. Нет, он не одобряет таких разговоров. Дома – в халате, за стаканом старого вина, в кругу друзей – это допустимо. Но на улице? Перед незнакомыми людьми? Вздор. Он вовсе не говорит речь, этот оратор. Он читает вслух газету. Бержере подходит ближе. «Юманите». Госпо-

дин Бержере – подписчик «Эвр», солидного издания. Читать «Эвр» – все равно что быть вкладчиком банка Ротшильда. Никаких крахов, никаких банкротов – но «Юманите»?

Чтение прерывается. Все, вытянув шеи, глядят на другую сторону площади. Отряд конных полицейских скачет к скверу. «Убегайте», – кричит Бержере. Но люди не бегут. Они стягиваются друг к другу. Молодой парень поднимает булыжник.

– Сражаться с полицией? – спрашивает Бержере. – Республика…

– Вам не место здесь, мсье, – говорит человек в шарфе. Конный отряд близко. Слышен легкий визг вынимаемых сабель. Грязь из-под копыт лошадей брызжет на новое пальто господина Бержере. Солнечный зайчик от сабли полицейского на мгновение ослепляет Бержере. Затем он видит падающего человека. Господин Бержере поворачивается к тесно сомкнувшимся людям, к нахмуренным бровям и крутым скулам и выкрикивает слова о человечности, любви, традициях Республики, долге граждан великой Франции. Молодой парень отшвырнул Бержере в строну. Бержере увидел ветви дерева, облако и много после – куртку санитара.

* * *

– Господин Бержере – сказал ассистент, прощаясь. – Вот добрый совет врача: не мешайтесь не в свои дела.

Бержере возмущенно пожал плечами. Он плохо воспитан, этот молодой человек.

Улица открылась плотным весенним воздухом, капелью и шумом многотысячной толпы. Не соблюдая рядов, заполняя тесной толпой мостовую, тротуары, шли демонстранты. И нестройный шаг не мешал им выкрикивать хором, как под взмахи руки невидимого дирижера, слова угроз и обещания мести. У фонарного столба стояла девушка. Из под весенней шляпки прошлогодней моды выбивались вьющиеся желтые волосы. Она раздавала проходящим какие-то листки. Бержере, умиленный выздоровлением, солнцем, пестротой толпы, широко улыбался – девушке, городу, миру. И девушка улыбнулась и протянула ему листок.

Толпа редела, выкрики отошли за несколько кварталов, появился полицейский. И Бержере увидел: с противоположного тротуара двинулся стройный человек легкой походкой танцора. За ним прошли еще несколько людей в пальто, плотно облегавших их прямые спины и выгнутые торсы.

– Прекрасный день, мадемуазель – вежливо сказал Бержере, приподнимая шляпу. Почему не поговорить с хорошенькой девушкой?

– Да, мсье, – ответила она рассеянно и, вздрогнув, оглянулась. Она была окружена. Один из тех – с другой стороны улицы – ударил девушку в лицо. Он ударил ее быстро, только один раз. И вместо неправильных и прелестных черт на господина Бержере смотрела с земли кровавая маска, бифштекс

из мясной лавки. Человек с фигурой танцора прицеливался каблуком в голову девушки, окруженную нимбом разметавшихся золотых волос.

Господин Бержере бросился к девушке, но от толчка в бок отлетел к стене дома.

– Вы бьете женщину, – крикнул Бержере, задыхаясь.

– Она коммунистка!

– Она человек!

– Человек? Пьер, вот еще один коммунист.

«Я не коммунист», – хотел сказать Бержере, но не успел, потеряв сознание.

* * *

– Вот так штука, профессор. Господин Бержере вернулся. На этот раз надолго.

– Дон Кихот уличных сражений, а?

Господин Бержере лежал на санитарных носилках. Кусочек стекла пенсне засел в коже надбровной дуги, и круглые, большие, бледно-голубые глаза безразлично глядели в потолок. Санитары раздели его и положили на операционный стол. Обнаженное мясо синими клочками свисало с плеч, со спины.

– Неплохо сделано – сказал профессор после осмотра. Но кости целы. Кто его так отделал, Луи?

Ассистент засучил рукава своей рубашки. В розовую кожу

были вдавлены треугольные коричневые шрамы.

– Похоже?

– То же самое, мальчик. Кастеты. Фирма?

– Полковник де ля Рокк, профессор.

– Вот как. Но Бержере вылечится. Как и вы.

– Да. Но вылечат ли эти побои господина Бержере?

Пава и древо

Анна Власьевна кружевничала шестьдесят пятый год. Плотно обхватив сухонькими морщинистыми пальцами коклюшку, она ловко перекидывала нитку от булавки к булавке, выплетала оборку для наволочки – самое пустое плетение. Двумя парами коклюшек водила по кутузу, по кружевной подушке Анна Власьевна. В молодые годы вертела она по триста пар коклюшек – самая знаменитая кружевница северного края. Давно уже не плетет Анна Власьевна сердечки и опахальца, оплет и воронью лапку, стежные денежки и решетки канфарные – все, чем славится вологодское кружево: сцепное, фонтанное, сколичное…

Двадцать лет как ослепла Анна Власьевна, но, и слепая, ежедневно сидит она за кутузом – плетет для артели самый простой узор.

Род Анны Власьевны – кружевной род. Трехлетним ребенком играла она на повити «в коклюшки да булавки», а пятилетней посадили ее к настоящей подушке – «манер заучивать» – пусть попривыкнет вертеть коклюшками, да и рука пораньше тверже станет. А через год-два и дому помощь. К восемнадцати стала она первой мастерицей в селе, сама составляла узоры и «сколки» на «бергаменте», и Софья Павловна Глинская взяла ее к себе в усадьбу первой плетеей.

Тридцать две зимы просидела здесь Анна Власьевна. Зи-

мами только и плели: «Летом день длинен, зато нитка коротка», думы не кружевные, изба ведь не кружевами держится – землей. А какая изба – в окно только ноги прохожих видно. Анна Власьевна плела только самое тонкое, самое хитрое кружево. «Иное плетешь тонко-тонко, в вершок шириной, пол-аршина в две недели сплетешь, да больше двух часов в день и плести нельзя – глаза ломит». Так Анна Власьевна и ослепла – «темная вода» залила ее глаза. Анна Власьевна вернулась в избу, перешла жить к старшей дочери. Мужа она давно схоронила, уж внучка – кружевница на выданье, и волосы у внучки мягкие-мягкие…

– Бабушка, ты спишь? Федя приехал.

– Не сплю я – замыслилась. Смеются небось бабы – Анна Власьевна четырьмя коклюшками плетет. А того не помнят, сколько я знала. У нас на деревне, да, почитай, во всем крае, только на сколотое кружево и мастерицы. А я знаю численное, когда надо нитки считать и узор сам собой повторяется – у Софьи Павловны петербургские знаменщики узоры-то эти чертили. Численное – это уже самое старинное русское, давно уж нет численниц-то нигде, а у Софьи Павловны только я одна была. Четырнадцать медалей Софья Павловна за мое кружево-то получила.

Знаю я и кружево сканое, шитое и пряденое понимаю. А на коклюшках-то все разумела: манер белозерской, балахнинской, рязанской, скопинской, елецкой, мценской – все знаю. По узорам-то и памяти моей не хватит считать:

и рязанские-то павлинки, и протекай-речку, и ветки-разводы травчатые, и бровки-пышки – города, и вертячий край, и гипюр зубьями… Калязинский манер цветами тонкий, паучки орловские, обачино ярославские, копытце да блины тверские – белевский окрок, – все знала. Но против нашего вологодского манера – никуда. У нашего нитка нитку за ручку ведет. Видала я у Софьи Павловны и баланжен плетеный французский, и гипур нитяный испанский. Не пришлись за нрав. Нет у них этой чистоты нашей – недаром вологодское кружево-то на убрусы невестам шло.

Ходка была я на работу-то, ходка. По полтиннику в день вырабатывала: зимами-то фунт керосину в коптилке сжигали. В полуден полоскаешь да чайку попьешь – очень мы чай любили да и сахару не жалели: когда вприкуску, а когда и вприглядку попьешь… И опять за коклюшки… А уж плетея была! Я на узком кружеве-то не сидела. Цельные платья выплетала я, тальмы, вуали, наколки, чепцы плела…

Старопрежнюю работу только и знали, что я да Угрюмова Пелагея, плетея наша, что в Петербург ездила. А только паву и древо мои и Пелагее не выплесть. Вятское это плетение, пава-то с древом…

Но о «паве и древе» внучка слышала много раз – без малого двадцать лет рассказывает об этом узоре Анна Власьевна – «только бы разок паву и древо выплесть, да и на кладбище. Не успела я дочек научить, не успела. Может, где теперь и плетут. Принесли бы, показали». И дочери приносили каж-

дый новый узор матери. Анна Власьевна ощупывала кружево, нюхала, гладила пальцами: нет, не то. Далеко до моих.

– Где нам, маманя. Была ты первая коклюшница по Северу, и теперь тебя так кличут. Анесподист Александрович, приемщик, недавно баил: «Твою бы матку, Настасья, в артель».

– То-то. Да и нитка толста. На такой нитке только к наволокам кружево идет…

– Бабушка, Федя-то доктор теперь. Распишемся мы и тебя возьмем. Работать не надо будет.

– Не из-за хлеба куска на артель верчу. Шестьдесят лет кружевничаю, разве отстанешь? Так с коклюшкой и помру. Сдавали сегодня?

– По первому сорту, бабушка.

– Мы кружевницы природные. Нам нельзя позориться. Ну, девка, потревожила ты меня, – пойду досыпать.

– Чего много спишь, бабушка?

– Эх, внучка. Глаза ведь ко мне ворочаются. Во снах-то я ВИЖУ. Рожь, милушка, вижу – колос к колосу, желтую, желтую. Кружево вижу и Софью Павловну вчера видела – она меня коклюшкой в бок ткнула, когда губернаторше численное кружево я плела да в счете ошибалась. А больше всего плету во сне пав и древо, что вы сплести не можете. Из моих-то пав, баили, сама английская царица мантилью сошила…

Анна Власьевна уже добралась до своей койки.

– Бабушка, не ложись. Мама идет, обед собирать будем.

Последнее время за обедом у Анны Власьевны было много беспокойства. Она ворчала:

– Что это мне в отдельной тарелке? Или я заразная какая?

– Все так едим, маманя. Дай руку – покажу.

Волновалась:

– Что это вы каждый день мясо и мясо?

– Ешь, бабушка.

Или хитрила:

– Алексей! Как ноне рожь-то? Принеси колос…

– Зачем?

– Хлеб, что ли, у вас растет какой особенный?

– А что?

– Вот кровать с шишками купили…

Старуха завела привычку: оставаясь одна, она передвигалась по комнате и ощупывала новые вещи. Однажды ощупала большое зеркало и заплакала. Эта менявшаяся география избы тревожила слепую. Годами она двигалась уверенно, как зрячая, и вдруг натыкалась на гнутые стулья, на комод, на новый кованный сундук. «Оставьте угол-то мой в покое», – просила она детей.

– Хлеб да соль.

– Вот Федя, бабушка.

– Ишь, голос-то какой густой. Дьяконский. Ну, подойди, подойди, дай я тебя потрогаю. Экие лапищи.

– Ну что, Анна Власьевна? Все пава за павой?

– Пава и древо, дурень. Пава за павой – иной сколок, проще…

Федор Карпушев, соседский сын, чтобы поразить будущих родственников, облачился в блестящий белый халат. По-московски любезничая, по-родному «окая», он усаживал старуху перед окном.

– Пожалуйста, Анна Власьевна, сюда сядьте… Повыше голову поднимите. Вы – мой первый пациент на родине.

– Пациент, – ворчала старуха, довольная почетом. – Пациент. Пахать надо. Фершал.

– Анна Власьевна, а вы врачей своевременно посещали?

– Чего?

– Вы глаза обследовали у врачей?

– Чего?

– В околотке, я говорю, бывала с глазами? – заорал Федор.

– В околоток-то ходила. Капли какие-то пахучие дали. Баили: табак бы нюхала, глаза-то и целы были. Да ведь не я первая. Кружевницы-то тонких узоров все глазами мучаются. Вот сноха-то Карпушева Ивана Павловича в Николин день…

Федор грохотал рукомойником.

– Знаешь, бабушка, твои глаза поправить можно. Операцию надо делать. Катаракт это…

– Полно брехать-то над старухой. У лавочника у нашего, у Митрия, катарак-то в желудке был, ему Мокровской, дай господи светлой памяти, городской-то доктор, два раза резал, а все умер Митрий. Я ему так и говорила: все рав-

но умрешь, черт, мало ты над кружевницами изгилялся. По триста кружевниц на него работало.

– Да не рак, а катаракт, бабушка.

– Все одно…

Но старуху уговорили. Анна Власьевна пришла в благодушное настроение и допытывалась у Федора:

– А косить можешь?

– Мало я косил…

– Ну, тогда лечи.

– К профессору отвезем.

– А профессор твой может косить?

– Не знаю. Не может, наверное…

– Ну, все одно… Вези. Только коклюшки я с собой возьму.

Федор увез старуху в Москву, а через два месяца написал, что операцию делал самый знаменитый профессор, что Анна Власьевна ВИДИТ. Потихоньку вертит коклюшками, а присмотреть за ней некому. Москва ей не понравилась: «не ослепнешь, так оглохнешь», и что через неделю думает он отвезти Анну Власьевну на Ярославский вокзал и посадить в поезд.

Но старуха приехала раньше, не вытерпела.

В стеклянный осенний день на полустанке вылезла она из вагона. Шофер закричал с грузовика:

– Садись, подвезу, бабушка. Тут ближе десяти верст нет деревень…

– Спасибо, сынок. Я и пешей дойду…

По тропке вдоль серых больших стогов дошла она до своей деревни. На околице хмурый бондарь стругал доски для огромного бака.

– Где тут Волоховы живут?

– Тут полсела Волоховых…

– Дом с красной крышей, баили…

– Тут полсела с красной крышей…

Обиженная Анна Влесьевна с трудом добралась до своей избы: изба была почти в середине «порядка», а не с краю, как раньше. Дверь закрыта – хозяева в поле. Анна Власьевна зажмурила глаза, нащупала щеколду, отворила. Вошла, оглянулась: кровать была совсем такая, как думала Анна Власьевна, а вот комод – нет: лак подался и замки какие-то легкие. Подошла к зеркалу, поджала губы: от годов-то никуда не уйдешь. А нет: старенькая, а румяная.

Анна Власьевна повернулась, открыла ящик комода и обомлела: кружево «пава и древо», того самого хитрейшего узора, что когда-то сгубил глаза Анны Власьевны, что выплела она теперь в Москве артели в подарок, – было сложено в ящике комода аккуратными стопочками, приготовлено к сдаче.

Анна Власьевна охнула.

– Маманя, маманя, – испуганные дочери стояли в дверях…

– Чье плетение? – строго спросила старуха.

– Поздравствуемся, маманя…

– Чье плетение? – под ногой Анны Власьевны скрипнула половица.

– Наше, маманя… Мы с Шуркой…

Старая кружевница улыбнулась:

– Такую красоту выплесть… Молодцы бабы. Нет, не угаснет наш род… Скрыли от старухи уменье свое… Гордость мою кружевную хранили…

Анна Власьевна заплакала. Вытерла глаза маленькими кулачками, развязала дорожный узелок и достала свое плетенье. Взяла из комода работу дочерей, подошла к окну, сравнила…

– Я еще елку с оленем составить могу, – тихо сказала Анна Власьевна.

Маяковский разговаривает с читателями

Маяковского слышали, видели десятки тысяч людей. В заводских клубах, в дворцах культуры, в студенческих аудиториях Маяковский разговаривал со своим читателем. «На сотни эстрад бросает меня, на тысячи глаз молодежи».

Этот «разговор с читателем» в жизни и творчестве Маяковского занимает очень большое место. Между тем, в том что написано о Маяковском, именно эта сторона его жизни почему-то остается в тени. За исключением Л. Кассиля («На капитанском мостике» в «Альманахе о Маяковском»), никто не рассказал о «разговоре с читателем». Известно, что Маяковский хотел написать книгу о записках, подаваемых читателями во время выступлений поэта, хранил эти записки, сортировал. Книга осталась ненаписанной.

В прошлом году я сделал попытку записать кажущееся мне наиболее интересным из виденного и слышанного. Это мелочи, штрихи – на большее записи и не претендуют. За исключением первого факта, который рассказан мне бывшим работником Наркомпроса, все остальное я видел и слышал сам.

1922 г. Заседание в Наркомпросе по плакатам для азбуки – азбуки взрослых. Собраны лингвисты, почтенные, седо-

власые профессора в тяжелых золотых очках. Здесь же недоуменно пожимающий плечами Маяковский. Придумывают слова для азбуки: А – арбуз, атом; Б – блоха, берег… Маяковский молчит.

– Владимир Владимирович, ваше мнение?

– Арбуз? – задумчиво говорит Маяковский. – Блоха? Бей белых! Вот что нужно для второй буквы азбуки!..

1926 г. Недели две до лекции Маяковского на диспуте в Мюзик-холле об есенинщине толпа «есенинских невест» сорвала криком и свистками выступление Н.Н. Асеева. Маяковский в Политехническом.

– Недавно не дали выступить против есенинщины одному моему товарищу.

Гул, крики: «И тебе не дадим. Долой!»

Перекрывая обструкцию, гремит Маяковский с трибуны:

– Меня вы своим «долоем» с трибуны не сгоните. Всю лирику Есенина (зал затихает) я уложил бы в две строки бульварного романса:

Душа моя полна тоски,
А ночь такая лунная.

Хохот. Аплодисменты. Маяковский, наклоняясь к микрофону:

– Товарищи радиослушатели! Слушайте, как аплодируют

человеку, который выступил против Есенина.

Гул. Аплодисменты.

Вечер кончается. Записки.

– Читайте все!.. Зачем комкаете? Читайте все записки!

– Ищу жемчужных зерен.

1927 г. Клуб 1 МГУ. Диспут – «Леф или блеф». Маяковский – Полонский. Начало в 8, но только около 9 раздаются аплодисменты, и сквозь тесную толпу студентов, бросая шутки на ходу, проходит на сцену Маяковский. Восторженные аплодисменты. Маяковский садится к столу. Встает, выходит, опять садится. Полонского нет. Проходит минут 10–15. Крики: «Начинайте», «Пора». Маяковский выходит:

– Начнем, пожалуй. Только вот Полонского и присных нет. От Лефа-то явились, а вот от блефа никого нет.

1927 г. Зал Политехнического музея шумит на вечерах Маяковского. Лекция «Даешь изящную жизнь».

– Я – за кружевные занавески на окнах рабочих квартир, – начинает Маяковский. – Я за канарейку в комнате рабочего! Мещанство не в вещах – мещанство в людях! Мещанство – вот в этой папке! – Из огромного портфеля вытаскивает Маяковский «революционный» романс Музгиза «А сердце-то в партию тянет». – Внимание!

У партийца Епишки
Партийные книжки.
На плечиках френчик, ах, френчик, френчик,
Голосок, как бубенчик, бубенчик, бубенчик.

Вот полюбуйтесь! Бубенчик! Епишка, у которого партийные книжки. Не книжка – партбилет, а книжки. Вам смешно? А тут не один смех слышится. Этот бубенчик звенит в том, что «на плечиках френчик». Откуда этот френчик на плечах? Такие френчики носили господа офицеры – на плечах.

Вот с чем нужно бороться. Против этого контрреволюционного «бубенчика», за изящную жизнь, за красивую жизнь, которую мы вплотную начинаем строить.

Переходим к стихам:
Делами,
Кровью,
Строкою вот этою,
Нигде
Не бывшею в найме,
Я славлю
Взвитое красной ракетою
Октябрьское
Руганное
И пропетое
Пробитое пулями – знамя!

Аплодисменты всего зала.

На заводе

По утрам Лена глядела в зеркало с ненавистью. Зеркало честно и без всякого сочувствия отражало скошенный подбородок, вздернутый нос, кустами какими-то растущие брови. Да, некрасива, некрасива. И ничего тут не поделаешь, разве снова родиться. Вот быть бы такой, как Паня Шпагина – первая красавица на все ФЗУ. Сейчас за ее станком – шум, смех, всякий кто пройдет мимо, улыбнется, заговорит. А на Лену никто не обращает внимания, разве только по делу…

– Эй, Федоров, кому сдавать смену?

– Вот тебе сменщик.

– Я станок Игнатову не сдам, Павел Иваныч.

– Это почему?

– Поломает. Пусть ФЗУ кончит, тогда и к станку идет.

– Не глупи, Казакова. Не век же ему тележки возить. В техкружке Игнатов занимался. В остальном ты подучишь. Ты ведь у нас профессор по фрезерной части.

– Как учить, так профессор, а как фотографа в цех звать, так Шпагину снимают. Красивых ищете?

– Ревнует. А к кому ревнует? К парню?

– Нет, к газете, к станку.

– Ребенок, право, ребенок, – сказал мастер.

– Ну, Петька, придется мне, видно, остаться. Лекцию тебе читать. Становись вот сюда. Вот деталь. Номер ее 6017.

Работать ее надо быстро. Начинай, показывай, чему вас на кружке учили. Поправлять буду.

– Грязно тут у тебя, Лена…

– Стружка, тряпка – это не грязь. Во всех цехах так. Чище нельзя, не дома.

Игнатов оказался способным учеником, а Лена – «профессором», и вскоре не стало надобности в учебе после смены.

Игнатов принес газету. Заводская многотиражка писала о нем – чернорабочем, ставшим квалифицированным фрезеровщиком.

Лена прочла газету и скомкала ее:

– Как ты ни работай, лучше меня работать не будешь.

– Посмотрим.

– Разве станок мой испортишь.

– Станок-то у нас один. Да и радость не в этом.

– Верно. – Лена досадливо откинула волосы со лба. – Вот что, Петька, ты учись скорей. А я уйду с завода. Работаешь, работаешь – и никто на тебя внимания не обращает.

– В расчетной ведомости небось обращают…

– Да разве мне деньги нужны?

– Боишься меня. Училась, училась, а пришел Игнатов, два месяца проработал и сделает теперь больше, чем ты.

– Ты каждый день сдавай столько…

Так началось молчаливое соревнование сменщиков. Паня

Шпагина, свесив ноги в черных лакированных туфельках с подоконника клуба, болтала с подругами: ненавижу его, рыжего летчика. Видеть не могу, а каждый вечер встречаюсь. Тянет. Целую и думаю: хоть бы погиб, проклятый…

– Влюбилась, влюбилась, – захихикали подруги.

– Вот странно, – сказала Лена, отрываясь от книжки. – Я так же с Петькой Игнатовым. Не от любви. И не целовала. А ненавижу.

– Влюбилась, влюбилась, – захохотали подруги.

– Эх ты, принцесса от станка, – засмеялась Шпагина. – Дай-ка книжку. Так и есть. «Фрезерные станки». Брось ты эту премудрость.

– Дайте мне, – сказала Лена библиотекарше, – что-нибудь поинтереснее.

– Вот «Кавказский пленник». Про любовь.

– Возьму, – сказала Лена. – Почитаю про любовь. Может, красивой стану.

– Петька, я хорошую книгу прочла. Сочинение Толстого «Кавказский пленник».

– Я читал эту книгу. – Игнатов снимал спецовку. – Что тебе здесь понравилось?

– А вот где о черкесах говорится, что были они бедны, а оружие у них дорогое, сверкает.

– Ну?

– Думала я о нашем с тобой оружии, Петька. Грязен станок. Инструмент надо полчаса искать в тряпках, в щепках.

Чистить буду. На сколько сегодня?

– На сто шестьдесят процентов.

– И все на «отлично»?

– Не все, но много. Не подсчитывали еще…

– Не верь ему, Казакова, – сказал Горлов, фрезеровщик-сосед. – Игнатову счастье. Он с бракеровщицей из контрольного перемигнулся. Она ему и метит «отлично». А деталь – хуже моей.

– Не ври, – резко оборвала Горлова Лена. – Я сама смотрю. Игнатов хорошо работает. Завидки берут?

Горлов ушел.

– Сплетня. Ты, Петька, не слушай Горлова. Первый шептун по заводу.

– У меня, Лена, для тебя чтение. – Игнатов вынул помятую газету.

– Опять про тебя? «Вчерашний чернорабочий»…

– Нет, Лена. Читай-ка.

Лена прочла заметку о шахте «Центральная – Ирмино», об Алексее Стаханове.

– Понимаешь? – Игнатов был серьезен и весел.

– Понимаю, – сказала Лена медленно, – мы не хуже угольщиков.

– Думай, Лена.

Две ближайшие недели Лена работала особо внимательно и напряженно. Станок шел без единой неполадки, но больше 160–170 процентов нормы Лена сделать не могла. Игнатов за

это время вырабатывал 120–140 процентов, часто останавливал станок, разглядывал фрезы. Однажды, принимая смену от Казаковой, сказал: если интересуешься – зайди к концу смены.

Лена видела, что Игнатов взволнован чем-то важным, отказалась от театра, куда был куплен билет, и пришла в цех. Толпа рабочих и инженеров окружала станок. Гора готовых деталей высилась около станка. Прогудел гудок. Игнатов остановил станок и молодцевато поправил галстук.

– Сколько? – спросил он.

– Четыреста десять процентов, – ответил Гринце, начальник цеха.

Лена рванулась к станку. Сразу все зашумели, заспорили. Игнатов объяснил: им изменен технологический процесс, он режет детали не по инструкции. Увеличена скорость резания. Нужная глубина резания, при увеличенной скорости, достигается вместо двух одной фрезой.

– А фреза? – кричал начальник цеха, наступая на Игнатова. – Фреза ступится, а экономичность…

– У меня подсчитано, – сказал бывший чернорабочий инженеру, вынимая засаленный блокнот. – Вот расчет. Фреза тупится очень медленно. Можно сказать, она сохраняется лучше, чем при прежней скорости.

Мастера с сомнением качали головами. Игнатов побледнел.

– Две недели проверяю, – крикнул он. – Ведь детали-то –

вот. – Он показывал на горку деталей, переводя глаза с одного лица на другое, и вдруг задышал трудно и коротко. – А ты, Лена? – Он с надеждой посмотрел на сменщицу.

– Я согласна с товарищем Гринце, – сказала она. – Фрезы затупятся.

Игнатов нагнул голову.

– Пойдем в партком, – сказал он хрипло и двинулся к выходу, надевая пиджак и никак не попадая в рукав.

Техническое совещание, созванное парткомом, подтвердило правоту Игнатова.

– А теперь, – сказал фрезеровщик, – я беру шефство над Казаковой.

– Учить меня будешь? – едва выговорила Лена.

– Не кусай губы, Лена, не гордись. Немного обиды на начальника цеха, немного обиды на мастера. Много обиды на тебя. Давно с тобой работаем. Станок любишь. Могла бы понять…

– Лощишь? Все равно лучше тебя буду работать. И с парашютом буду прыгать. И в хоккей играть. И шефство над тобой возьму.

– Вот это дело. А одной фрезой резать попробуешь?

– Попробую. – И Лена засмеялась.

Заводская газета выпустила «молнию». В ней было сказано, что фрезеровщица Казакова вызвала стахановца фрезеровщика Игнатова соревноваться на лучшую работу. Лена прикрепила газету кнопками к шкафчику с инструментами,

обвела заметку синим карандашом. Игнатов улыбался, принимая смену. На инструментальный шкафчик Лена постлала белую клеенку. После одной смены, когда Казакова дала 500% нормы, рабочие поставили на шкафчик большой букет цветов, из дома Лена принесла метелку, зеркало.

– Хозяйка, – говорил Павел Иванович, почтительно похлопывая Лену по плечу.

Горлов косился на станок Лены: чистюля. Работала три года, все чисто было, а теперь вдруг – грязно. Клеенку белую постлала.

– А как же – смеялась Лена – не дома.

– Ну что, – сказала Паня Шпагина, – ругала Игнатова, а теперь сама за ним тянешься?

– Дура, – ответила Лена, открыла сундук, достала открытые туфли. Туфли, цвета беж, были куплены давно, но надевать их как-то не было охоты.

– Буду носить на работу, – сказала Лена удивленным подругам.

– Петька! Ты сколько сделал?

– Сразу шесть деталей двумя фрезами. Тысяча четыреста процентов. Шутка?

– Можно больше.

– Ну?

– Вот так поставить – можно восемь деталей сразу делать.

Теперь уже Игнатов дожидался с нетерпением конца смены.

– Сколько? – спросила Лена, покусывая мизинец.

– Две тысячи сто процентов, товарищ Казакова, – ответил технический директор завода. – Ни одной отметки ниже «хорошо».

Игнатов в восхищении тряс за плечи сменщицу.

– Маникюр сломала, вот как спешила, – сказала Лена.

Лена сходила с трибуны заводского митинга. Технический директор потянул ее за рукав:

– Сколько вам лет, товарищ Казакова?

– Двадцать два.

– Молодец! Глаза блестят! А волосы? Чистое золото. Красавица, красавица… Поздравляю.

Вторая рапсодия Листа

В городе не было своего сумасшедшего. Эту штатную городскую вакансию десять лет занимал вшивый звонарь Кузя. Когда-то у звонаря утонул сын, и с тех пор Кузя считал воду блевотиной дьявола. Он отказался от мытья и не ходил в Заречье. Он шептал голубоглазым встречным: дьявол плюнул в глаза ваши. Он трижды крестил стакан перед чаепитием. Кормили Кузю черноглазые и кареглазые лавочники. Недавно Кузя умер, и горожане приглядывались к старику в вытертой, блестящей крылатке, раздумывая, не определить ли его в сумасшедшие.

Мальчишки давно уже бегали за ним и кричали: «Чижик, чижик». Давно, когда еще не родились старшие братья этих мальчишек, старик был учителем музыки. Кличку «чижик» придумали не дети. Умирала жена старика, он выменял пианино на масло и выписал профессора из Москвы. Жена умерла, и старик поступил тапером в кинематограф. Между двумя сеансами «Сказки любви дорогой» таперу подали конверт с лиловой расплывчатой печатью. Командир полка извещал, что оба сына старика, красноармейцы, погибли в бою как герои. Старик аккуратно уложил бумагу в конверт и сел к роялю. Но в самом патетическом месте он заиграл «Чижика». Сеанс окончили без музыки, и заведующий кинематографом весь вечер, как мог, утешал старика. Через неделю

заведующий его уволил. Райвоенкомат выхлопотал старику пособие.

Каждое утро огромный, с отечным лицом, тяжело дыша он шел через город, опираясь на палку. Львиные головы – застежки крылатки – сверкали. Старик ежедневно чистил львиные морды мелом. Он двигался мимо вырубленных на дрова садов, мимо коз, объедавших афиши о мобилизации, мимо чахлых огородов, обнесенных колючей проволокой, мимо церквей, еще не переделанных в кинематографы и яростно вздымавших к небу измятые груди своих куполов. Он шел на рынок.

Рынок был переименован в «Площадь борьбы со спекуляцией». Там велась борьба со спекуляцией. Раз в неделю взвизгивали свистки и рыночные торговки. За заборы домов летели гимназические пальто, мешки махорки, самосадки и матросские тельняшки. За ними прыгали сущие и будущие владельцы вещей. В подворотне прятался попугай, который вытаскивал счастье.

И на опустевшем рынке, посреди раскрашенных табуреток и граненых деревянных волчков – рулеток рыночного Монтекарло – «за пять – двадцать пять, за двадцать пять – сто двадцать пять. Ответ до двух миллионов» – неподвижно стоял огромный грустный старик. Его история была известна всему городу, и даже милиция не забирала его при облавах. И когда однажды молодой агент розыска, рьяный коллекционер Картеров и Пинкертонов доставил старика к

своему начальнику, тот спросил: «А зачем привели этого… Листа?..» Опять же не начальник Угрозыска придумал эту кличку. Старик продал пианино, но сохранил граммофон. Он был первым человеком в городе, купившим граммофон. Еще давно, когда жена и дети были не только живы, но и веселы, он заводил граммофон каждый день. Под окнами квартиры собирались гимназисты, сидельцы, пожарники и кухарки – старик развлекал город. В год войны он купил пластинку, которая стала любимой в семье. Это была Вторая рапсодия Листа. Игралась она только дважды – в спешных сборах старшего сына на фронт пластинку смахнули со стола, разбили. Старик не мог повторить этой гордой, могучей и молодой мелодии, но он помнил ее именно такой.

Вечерами старик выносил на улицу стул. Глядя на узкую зеленую полоску зари, он вспоминал жизнь. Он чувствовал, что какое-то счастье выскользнуло из его рук и разбилось. Он вспоминал сыновей и напевал два-три запомнившихся такта рапсодии. Не было ни рапсодии, ни сыновей. Серая пыль неслышно ложилась на ботинки старика.

Постепенно он стал думать больше о рапсодии, чем о сыновьях и жене. Старик думал, что Лист вернет ему семью. Он стал искать пластинку. Он возобновил старые, заводил новые знакомства. Кряхтя, он склонялся над «развалами» старьевщиков и рыночных торговок. Он искал мучительно долго – может быть, тысячу дней. Так город узнал о существовании Листа и его рапсодии. Как-то в сырой и ветреный

осенний день он нашел пластинку. Он задыхался от счастья. За пластинку просили кило сахару. Это было сумасшедшей ценой, но продавца предупредили, что и покупатель – сумасшедший. Старик волновался. Он предлагал кирпичный чай, копию Рубенса, сапоги. Сахару в городе не было. Старик боялся потерять рапсодию. Он умолял хозяина пойти в квартиру и выбрать вещь в обмен. Продавец отказался. Старик умолил подождать – он побежал домой, попросить сахар у соседей. Продавец согласился. Старик заковылял к дому. Горячий и потный, через два часа он вернулся на рынок. Сахару он не достал. Хозяин пластинки исчез. Старик сел на камень и заплакал. Его отвел домой учитель математики единой трудовой школы. На рынок он больше не выходил. Через два дня учитель математики нашел его в бреду – старик простудился. Он бредил рапсодией. В углу комнаты стоял старинный граммофон, окруженный горой разломанных пластинок. Учитель побежал за доктором. Пришел веселый доктор, тот, у которого разбежались сумасшедшие. Он приехал год назад в город врачом в психиатрическую больницу, но пьяный сторож разогнал всех сумасшедших, и некому было их собирать. Они исчезли. Доктор стал терапевтом. Тогда венерологи лечили испанку, аптекари делали трепанацию черепов. Доктор поставил термометр и покачал головой:

– Поправимся, папаша, – бойко сказал он. – Аспиринчик…

– Рапсодию, – прохрипел старик.

– Что?..

Математик рассказал историю старика. Доктор с интересом поглядел на больного. Вздутый живот старика трепетал.

– Лист… – выговорил старик плача, – Лист… – и он молитвенно сложил тяжелые синие руки. Судорога страдания бегала как молния по его лицу.

Доктор пришел утром. Безнадежные покрасневшие глаза учителя математики робко смотрели на него. Доктор держался как фокусник. Он вытащил из рукава термометр. Он пощупал пульс. Старик был в полном сознании и молчал.

– Папаша, – сказал доктор, отскакивая от кровати и торжествуя, – Вторая рапсодия Листа, – и вынул из-за спины черный круг.

Грузное дыхание старика прервалось. Он широко раскрыл глаза. В мелких конвульсиях вздрагивало его тело. Доктор завертел ручку граммофона и бережно вытер пыль суконного круга. Он поставил пластинку и толкнул рычажок. Игла зашипела и такты вальса «На сопках Манчжурии» вскинули учителя математики с кресла. Он бросился к граммофону, но доктор загородил ему дорогу. Учитель вцепился в плечи доктора.

– Что вы, – в горле учителя булькало, и крупные капли пота выступили на его лбу.

– Ну-ну, – сказал доктор, отрывая осторожно руки учителя от своих плеч. – Полегче. Вы только математик.

Лицо старика светлело. Тяжелые складки морщин мед-

ленно расходились. Он улыбался. Легкая веселая пена пузырилась на губах старика.

– Лист! – шептал он. – Лист…

Карта

В предгрозье, в тишине был слышен хруст малинника. Малинник ломили медведи. Степан Петрович знал это по легкому похрапыванию стреноженных коней, по поднятым их ушам, по робкому визгу Роланда, лайки. Степан Петрович посмотрел на бегущие быстрые тучи, недовольно тряхнул седой большой головой. Он надел тяжелые золотые очки и развернул роман Поль-де-Кока, старую, бережно подклеенную французскую книжку. Сегодня воскресенье, день воспоминаний, день французского языка. Не читается. Разве прочесть Библию, тоже французскую, ту, которую оставил мосье Рейно? Что-нибудь о патриархах? Степан Петрович скривил губы. Он сам был патриархом. Вот его дети, беловолосые, в синих холстинных армяках. Они валят лес, ходят за куницей. Они не знают французского языка. Вот внучата: пасут скот, ловят рыбу. Они вовсе неграмотны: на сто верст кругом нет школы. Нет ее с 1910 года, когда взорвали рудники, доменные печи, каменные дома: школу, больницу, поселок, склады; разобрали узкоколейку. Ребятишки играют в прятки в обломках, в руинах металлургического завода, затянутых таежной зеленью.

Ветер свистит, качая верхушки елей. Накрапывает дождь. Степан Петрович захлопывает Поль-де-Кока. Богатая была концессия. В таежной глуши бельгийские инженеры, бель-

гийские хозяева откупили у царского правительства право добывать чугун, сталь. По крутой, быстрой горной реке опускались баржи – шитики, груженные рудой. Обратно вверх караваны пустых шитиков поднимали лошадьми. Немалую прибыль имели бельгийцы и не от одной железной руды. Тайком здесь, в тридевятом царстве, рыли золото, платину. Степан Петрович старый разведчик, «золотарь» знал это и бельгийцами был обласкан. Весело жили. Две тысячи рабочих было здесь. В здешнем ресторане в тайге пели певчие из шантанов Вены. Все прошло и… тайгой поросло. На краю огромной, длинной ямы, которую мосье Рейно, главный инженер, назвал «экспериментальной открытой разработкой чугунной руды», сидит бурый ястреб. Да, бельгийцы делали тут большие денежки. В 1910 году кончался срок концессии. Русские промышленники завидовали бельгийской удаче. И догадывались о золоте. Царское правительство не продлило концессии. Тогда бельгийцы взорвали все: печи, рудники, поселок – все, не оставив камня на камне. И ушли. Вслед за ними ушли рабочие. Жизнь кончилась. Остался только Степан Петрович. Он ждал прихода русских промышленников, он хотел продать им свои знания и еще кое-что, далеко и глубоко спрятанное. Русские промышленники медлили. Затем началась война с немцами – этой войне с врагами бельгийцев Степан Петрович глубоко сочувствовал.

Из большой семьи Степана Петровича никто не ушел на войну. Тайга закрыла выселок от рекрутского набора. Рож-

дались дети, женились сыновья – выселок рос. По тайге прошли белые банды, остатки разгромленных армий Колчака. Степан Петрович читал Библию и Поль-де-Кока. Прошли красные, партизаны, и с ними увязалась младшая, любимая дочь Степана Петровича – Анка. Потом всю семью вызвали в поселок, и по таежным тропам на конях верхом приехала семья Степана Петровича в сельсовет. Степан Петрович послушал рассказы о новой власти, вернулся к себе и раскрыл Библию. Он не поверил власти. Сыновья возили лес, привозили муку. Умерла жена, утонул сын, Степан Петрович похоронил их без попа, сам вытесал кресты. Он ловил рыбу и читал французские романы. Однажды зимой в выселок Степана Петровича пришел на лыжах молодой геолог. Он послан вести разведки. Он знает, что Степан Петрович единственный старый житель этих мест, служивший на бельгийской концессии, да еще старым разведчиком. Не расскажет ли Степан Петрович, что знали бельгийцы об этих местах? Вот он привез письмецо, которое порадует Степана Петровича. И гость протянул старику конверт с письмом Анны. Степан Петрович побледнел. Анна не погибла. Анна стала инженером, инженером-геологом, и скоро будет здесь, у отца. Степан Петрович вложил письмо обратно в конверт. Женщина-инженер? Он недоверчиво покачал головой. Жена инженера? Нет, нет, Анна Степановна сама инженер, хороший инженер. Старик почему-то обиделся и на расспросы геолога о бельгийцах решительно отмалчивался. Геолог уехал, и

Степан Петрович остался один со своим волнением. Он знал много. Он не сказал геологу ничего. Может быть, старик стоит за шаг от богатства? Надо посмотреть – каковы будут новые хозяева? Какова будет дочь.

Сегодня дочь приезжает. Степан Петрович нахмурил брови. Гроза! Как, с кем она, горожанка, сквозь ливень, через бурные реки? Старик надел холстяной, промасленный плащ, надвинул капюшон и пошел к реке. Исхлестанный до пузырей плетьми дождя живот реки тяжело вздувался. Река, дрожа, бежала вниз – туда, где не было этого мокрого наказания. Загнанная, исполосованная ветром и дождем, река хваталась за прибрежные камни, ворочала их, обрывалась и убегала дальше, разбрасывая на камнях слюну. Степан Петрович, улыбаясь, смотрел на рябую реку. Все отгремит, отшелестит. Сегодня же все будет в берегах. Гроза стихала, и радуга, упираясь одним концом в скалу, а другим уходя в нагибающиеся к горизонту тучи, горбилась над тайгой. Дождь затих внезапно, брызнуло солнце, запели птицы, и на другом берегу из прибрежных кустов вышла девушка, держа в поводу лошадь.

* * *

Девушка стоит, щурясь от большого солнца, и глядит на сверкающую зелень родины. Солнце играет на мокрой кожаной куртке, в каплях, забившихся в желтые пышные волосы,

примятые кепкой. Солнце играет на боках лошади, на еще волнующейся реке. Деревья расправляют плечи, земля поднимает к небу сияющие травинки. Девушка вспоминает детство, четыре времени года. Откуда они приходили? Весна – с тех оврагов, у которых почернеют бока, откроют хилую прошлогоднюю травку. Осень приходила из березовой рощи – хрупкими желтенькими листочками – это предупредительные письма осени. А за рощей растянется узкая зеленая заря. Зима шла от реки, от тонких ледяных кружев, которыми оденутся прибрежные камни по утрам. А лето? Откуда приходило лето? И не додумав, девушка поднимает голову. Ломаная линия горизонта намечена цепью гор. Эта диаграмма, эта кривая вычерчена еще в ледниковом периоде, и тысяча лет не прибавит и не убавит ни одной черты на этой диаграмме. Тысяча лет! Так говорил отец. Посмотрим, нам дана годичная командировка, чтобы переделать этот чертеж. И девушка идет вперед и тянет повод лошади.

* * *

Долбленную из ствола дерева лодку-осиновку перегоняет через реку сын Степана Петровича. Брат и сестра здороваются за руку. Анна Степановна расседлывает лошадь. Седло и вьюк втаскивают на лодку, лодка движется вперекор течению, и за лодкой на поводу плывет лошадь, задирая вверх морду. На берегу суетится Степан Петрович. Дочь целует се-

дые густые усы старика, и по мокрой траве они торжественно идут в избу. Степан Петрович отпирает «горку», достает старые, неприкосновенные, бельгийские чашки. На сковороде шипит хариус – горная рыба необычайного вкуса, в переднем углу чадит лампадка перед резным киотом, и Анну Степановну обступает детство. Полати, на которых было так тепло спать, пахнущая кожей сбруя на стене у двери: Анна Степановна, Анка, в изнеможении бросает руки на стол, опускает голову и засыпает. Теплые руки отца гладят Анкину голову.

* * *

Разведочная группа Анны Степановны приступила к работе. Старик бродил от вышки к вышке, приглядывался к шурфам, качал головой. И однажды, плотно притворив дверь, он положил руки на плечи Анны Степановны.

– Слушай, Анка! Во сколько обойдется вам вся разведка? Всей экспедиции? Вся подземная карта?

– Не знаю. Тысяч пятьдесят, я думаю.

– Большое дело задумала, дочь. Слушай, Анка, я знаю эту землю. Я сторожу ее сокровища двадцать лет. Здесь есть ванадий, цинк и вольфрам, здесь горбатые железные горы – руда на восемьдесят процентов железа; здесь золото, платина. Здесь богатство – мое и твое, у меня есть подземная карта – десять лет работали бельгийские инженеры, чтобы составить ее. Я украл ее у бельгийцев. Я спрятал ее. Я уже стар. Ко-

му оставлю? Сыновьям? Они знают только кубометры древесины, куньи шкурки. Я дам карту тебе, и ты продашь этот чертеж за тридцать тысяч. Двадцать тысяч барышу для «власти», а? Ты получишь богатство, славу, Анка.

Анна Степановна сняла дрожащие руки отца со своих плеч.

– Славу? Какую славу? – сказала она, и крупные капли пота выступили на ее лбу. – Отдай нам карту, отец! Мы выстроим здесь в тайге солнечный город, советский Клондайк! Страна, наша страна богата! Ты сделаешь ее еще богаче, отец. Кстати – сегодня мы открываем школу, отец. Надо послать племянников.

– Я сам хочу стать богаче, – сказал старик и освободил свои руки из рук дочери. – Карты я вам не отдам.

Анна Степановна вышла. С тех пор работы шли своим порядком.

Анна Степановна перешла жить к племяннику, а старик уже не ходил смотреть на буровые работы. Так прошло лето, по первому снегу уехала Анна Степановна. Прощание отца с дочерью было теплым. Но что-то не было сказано, и оба отводили глаза в сторону.

Весной Анна вернулась, и работы вновь начались. Степан Петрович постарел за один год так, что уже не мог ходить без палки. Он никуда и не ходил. Он каждый день, а не по воскресеньям, как раньше, читал Поль-де-Кока и Библию. Осенью его пригласили в клуб – большая изба была клубом.

Там оркестр из двух мандолин и гитары беспрерывно играл туш и за столом президиума, крытым кумачом, сидела Анна Степановна. Вся экспедиция и много жителей ближних деревень были тут. Люди толпились около избы, но перед Степаном Петровичем расступились, и он прошел в первый ряд. Из рук в руки бережно передавался затертый номер газеты. Там было напечатано постановление правительства о награждении Анны Степановны орденом и ее портрет. Старик понял, что почет, которым окружала его толпа, был почетом дочери. Ее свет падал на Степана Петровича. Говорились сильные нескладные торжественные речи. Это был первый орден в крае, и в президиуме собрания сидели с ромбами, сидел сам председатель крайисполкома, как сказали Степану Петровичу («губернатор» – догадался старик). Степан Петрович был ошеломлен. Когда аплодисменты и крики подняли с места Анну Степановну и она, запинаясь и краснея, благодарила и обещала работать еще больше, еще лучше, – старик вытер слезы кулаком и ушел из клуба.

Всю ночь он просидел у окна и, дождавшись, когда поблекли звезды, взял топор и тихо вышел из избы. Он положил топор в лодку, принес лом, лопату, сел в осиновку и оттолкнулся шестом от берега. Он опустился вниз по течению к большой скале с пещерой. Солнце стояло высоко, когда старик вернулся. Сыновья уже искали отца. Ни на кого ни глядя, он пошел к палатке Анны Степановны. Откинув полу палатки, он протянул дочери сверток с сокровищем – с под-

земной бельгийской картой.

Анна Степановна стояла высокая, прямая и бледная, и руки ее дрожали, принимая сверток.

– Отец, – сказала она срывающимся голосом, – мы составили уже такую карту. За это мне и дали орден.

* * *

Степан Петрович всхлипывал, обняв голову дочери, и желтое вьющееся пламя волос выбивалось из старческих пальцев.

В зеркале

Случайной пулей, на улице, девочке прострелили ногу. Девочку не сразу подняли и отвезли домой, она долго лежала на снегу, стонала, началось воспаление легких. Сейчас кризис прошел, понемногу возвращался мир – отец, мать, вещи. Девочка лежит в гостиной, большой комнате с окнами на три стороны. Кровать поставлена сбоку огромного старинного зеркала-трюмо. В зеркале видна вся комната и освещенный коридор, ведущий в глубь квартиры. Недавно большую дверь из коридора разломали на дрова, и жить стало еще интереснее – мир расширился. Девочка наблюдает в зеркало жизнь мира. Хлопает дверь в конце коридора, и к девочке, вырастая и ширясь, двигается женщина. Она втаскивает с собой упругий весенний воздух. Затем воздухом весны пахнет уже из угла комнаты, где брошено пальто. Девочка закрывает глаза и чувствует знакомые шелковые руки матери. Неторопливо движется фигура отца. Вот он в комнате около буфета, снимает очки, протирает их платком. Он в коричневом костюме, и в зеркале видно только лицо, руки, платок. Цвет костюма сливается с цветом дубового буфета. Вот широкая ласковая рука отца. Добрый голос рассказывает о скворцах, маленьких темно-лиловых скворцах. Скворцы уже в скворечнях, которые в прошлом году сколачивал отец. Вот он поднимает руку, чтобы взять с полки том энциклопедии. Какую руку

поднял отец – правую или левую? Зеркало путает глаза, уши, руки, ноги. Не сразу угадаешь в зеркале, какую руку поднял отец.

Но самое главное – все плоское. Отец, мать, буфет, письменный стол – все как на картинке.

Вечер. В зеркале видно, как начинают прятаться вещи. Сначала со стен сбегают картины. Отступают в темноту книжный шкаф, стулья. Вот уже нет письменного стола. Спрятался буфет и только по бликам света на стеклах видно, что буфет тут, близко. И успокоенная, девочка засыпает.

Просыпается она внезапно. В дверь негромко стучат, в зеркале видно – отпирать выходит отец. Он одет как всегда – должно быть, не раздевался. Дверь отворяется, и в квартиру, шатаясь, входит человек Отец подхватывает его под руку. Человек с трудом снимает солдатскую папаху, открывая забинтованную голову. Он поднимает лицо к лампочке, и лицо, заросшее рыжей щетиной, ярко-голубые глаза кажутся девочке знакомыми. Где она видела этого человека? Четыре месяца назад, когда еще можно было ходить кататься на ледяную горку и когда дверь в коридор была еще цела, этот человек приходил к отцу часто. Они подолгу сидели здесь в большой комнате, девочку отсылали играть в комнату матери. Однажды рыжий передал отцу большую пачку денег, и девочка думала, что завтра на обед будет мясо. Но мяса не было. Последний раз рыжий приходил недели за две до того дня – до выстрела в переулке, когда из рук девочки вы-

пал хлеб и в глазах остались только снег и небо. Он подарил девочке маленькую жестяную коробочку с леденцами, очень вкусными леденцами. Тогда отец и рыжий поцеловались в коридоре, хлопнула дверь и рыжий ушел. Теперь он пришел снова. Отец обнимает его и ведет в боковую комнату. Тихо. Крадучись, в коридор выходит отец. Он берет трубку телефона. Негромкий короткий разговор. Выходит мать, непричесанная, в капоте. Взявшись за руки, они уходят в комнату, где сидит (или лежит) рыжий. Тихо. Снова стучат, резко и настойчиво. Коридор наполняется людьми… они в серых шинелях с золочеными погонами. В таких шинелях ходят теперь по городу люди, на которых смотрят из окон, слегка раздвинув занавески. Недавно они зачем-то приходили, и с ними ушел отец. Отец вернулся поздно ночью и долго целовал девочку. Сейчас они стоят молча, вопросительно глядя на отца. И отец показывает рукой на комнату, где лежит (или сидит) рыжий. И разом гремят шпоры и сабли – люди входят в комнату. Через несколько минут под руки выводят рыжего. Он очень слаб, его приходится почти нести. Один из людей, одетых в шинели, пожимает отцу руку. Дверь закрывается.

И тогда девочка сползает с кровати на пол. На руках она подвигается к письменному столу и берет тяжелое чугунное пресс-папье. Пресс-папье оттягивает руку. Девочка подползает к зеркалу и швыряет пресс-папье в стекло. Потемневший мир сразу становится спокойнее и честнее. Силы оставляют ее, и она лежит среди осколков, всхлипывая. Она от-

талкивает ласковые руки отца. «Оставьте меня, оставьте»…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.